

## Владислав ЛЕЦИК

От редакции. Владислав Григорьевич Лецик – выпускник литературного отделения истфила БГПИ 1967 года. Печататься начал студентом в институтской многотиражке «За педагогические кадры». После окончания института и службы в армии поступил корреспондентом в Селемджинскую районную газету «Горняк Севера». Потом несколько лет был штатным охотником зверопромхоза. В 1975 году переехал в Благовещенск, работал в «Амурской правде». Последние десять лет – директор издательской компании «РИО». Повести и рассказы печатались в областных и центральных газетах и литературных сборниках, в журналах «Литературная учёба» и «Дальний Восток». В 1984 году в Амурском отделении Хабаровского книжного издательства вышла его книга повестей и рассказов «Пара лапчатых унтов». Член Союза писателей России.

Публикуемый здесь рассказ автобиографичен. Место действия – средняя школа в Завитинске, время действия – канун Нового 1961 года.

Рассказ



## Костюмы

Маленькая толпа взволнованно гудела. Я тоже толкался там, одетый в драную тельняшку, с черной пиратской повязкой на глазу, и тоже волновался: «И мне! И мне дай поддержать!» В середине толпы Вовка Васин осатанело отфыркивался от своих толстых запорожских усов из ваты, которые лезли ему и в нос, и в рот. Все, однако, смотрели не на усы, а на саблю. Вовка рискнул вытащить ее из картонных ножен только здесь, в укромном классе, подальше от спортзала с праздничной елкой и от учительских глаз. Кому давал поддержать, а кому и нет. Саблю ему выковал старший брат в деповской кузнице. Она была тускло-синеватая, очень острая даже на вид, а вдоль всего клинка шел желобок, и все вокруг были в курсе дела, для чего полагается такой желобок, и повторяли хмуро: «Это для стока крови!» Вихлястый Захрыч, мушкетер задрипаный, пополам ломался от зависти. Тут налетел заполошный Тормашук в медвежьей маске, хрюкнул – и никто опомниться не успел, как сабля очутилась в его руках, и он с гоготом унесся в коридор, где, конечно, с ходу влип: конфисковали ее навеки.

Все же я успел – еще до Тормашука – ту саблю поддержать. После привычных деревянных мечей и проволочных шпаг рука ощутила нешуточную тяжесть. У меня дыхание перехватило.

Это было в седьмом классе.

А уже в девятом – никаких сабель, никаких пиратских лохмотьев. Только узенькие символические полумаски, небрежно сдвигаемые на лоб. Но помню, что и без масок мы едва узнавали друг друга. Девчата пришли на новогодний вечер в потрясающих платьях, в странных прическах, у них как-то сразу все изменилось: и походка, и голос, и даже ум. Парни озадаченно озирались. Хотя из парней тоже никто не подкачал – все были при галстуках. А свои штаны, широкие, сшитые по отцовской послевоенной моде, мы перешли так, что отцы плевались. Зато мы выглядели, как тогда называлось, стильно. Штанины восхитительно сузились книзу конусом, а укоротились настолько, что казались как бы поддернутыми сверху, благодаря чему стильные красные носки были полностью на виду, а при ходьбе вылезали и голые икры, уже вполне волосатые.

В первые минуты у меня было радостное чувство, что это, пускай без масок, но тоже маскарад: мы нарядились во взрослых – и получается!.. Я обманулся, это был не маскарад, все начиналось всерьез. И не от сабли с желобком перехватило дыхание. Лена танцевала с тем рыжим уверенным молодцом, новеньким в нашей школе. Весь вечер – только с ним. Учителя смотрели на них гневно, ученики жадно, те и другие как-то подавленно. Вихлястый Захрыч не вихлялся, только рот кривил. Один заполошный Тормашук безмозгло фыркнул в кулак. С самой осени школа шепталась про Лену и этого новенького, а я ничего не хотел видеть, на что-то надеялся, штаны ушивал к ёлке. И вот, у елки, увидел всю свою ненужность. Какие уж тут сабли...

Седьмой класс – и девятый. Между ними, кажется, пропасть.

Но между ними была не пропасть, а восьмой класс, время, когда, выбежав из детства, мы словно остановились на миг с разинутым ртом. За спиной звенел наш собственный детский галдеж. Впереди смутно и близко темнела, как сопка в тумане, взрослая жизнь. А пока – остановка, удивление, вслушивание. Странное время – восьмой класс.

Новый год в восьмом классе приближался, а никто не вынюхивал чужих секретов, не выпрашивал друг у друга ни красок, ни картона. Каждый мрачно удивлялся:

– Апатия у меня какая-то!

Это было даже приятно, потому что солидно: прошлый год мы и слова такого не знали, а нынче, пожалуйста, у каждого уже апатия!

Приелись мушкетеры, пираты... Я подумал: а не сделать ли вдвоем с Генкой парный костюм? С напарником-то у елки хоть почудить можно... Генка загорелся:

– «Дон Кихот и Санчо Панса»! Налокотнички сделаем, наколеннички, все как положено... Ты ж сумеешь!

Я задохнулся от тайной гордости: представил, какие смог бы сделать из папье-маше доспехи, – в точности как на рисунках Гюстава Доре. Генка не смог бы, а я считался художником... Все так. Но Генка-то выше ростом. Значит, это ему достанутся рыцарские налокотнич-

ки-наколеннички. А мне что? Бабьи чулки Санчо Пансы?

– Дон Кихот – это старо, – сказал я.

В последнее время мы с Генкой уже не очень охотно бывали вдвоем. Он повадился день и ночь крутить многоламповый приемник, все ловил джаз и рок-н-рол – и говорил теперь про одно: сделать бы, мол, электрическую гитару. Мне надоело слушать обоих – и Генку, и приемник. Странное время восьмой класс: наше приятие успело, в сущности, развалиться, а заметить это мы еще не успели. И вот нашли себе новую общую мороку – придумывать парный костюм. «Стрекоза и Муравей»? Да ну, детство. «Принц и Нищий»? Тоже чушь... Я даже на уроках перебирал варианты, но апатия моя лишь крепчала: все не то, все старо.

Вот девчат апатия не брала. На переменах они шушукались, и было видно, что идеи у них так и бурлят: Лена Серова часто прижимала пальцы к вискам – значит, чему-то поражалась. Я подумал: спрошу-ка у нее, что готовят к елке девчата.

Эта мысль меня вдруг взволновала. Шел урок. Лена Серова сидела впереди, за две парты от меня, я глядел на ее белые банты в темных гладких волосах, и сердце обмирало: вот зазвенит звонок – и спрошу. С чего так приспичило – сам не знал. Их новогодние костюмы меня не так уж и занимали, я мог бы и до Нового года потерпеть, а не то что до звонка. И потом, Лена могла в ответ такое сказать – с улыбочкой, на весь класс, – что пойдешь как оплеванный. Уж проще спросить Милку, сидящую слева от меня, через проход. Милка простодушная, о чем ни попросят – все сделает. У нее и глаза всегда встревожено выпучены: не надо ли кому чего?

Я покосился влево – вздрогнул. Милка, поджав губы, тарасилась на меня: почему не пишу, не сломалась ли авторучка? Черт! Небось заметила, куда я глядел целых пол-урока...

Но что сделаешь – мне туда поневоле гляделось. И не мне одному. И не пол-урока, а целых три года гляделось, еще с пятого класса, когда Лена Серова перевелась в нашу школу.

Тогда, в первый же день в пятом классе, девочка с темной челкой и белыми бантами подняла на классном часе руку: «Можно спою?» Вышла к доске, нахмурилась и запела... не по-русски! Вот тогда-то в первый раз и глянули. «Аванти, о попполо!.. – выводила звонок и отважно. – Бандьера росса!..» Оказалось, выучила в Москве, где была летом со старшей сестрой.

А в то лето пятьдесят седьмого года в Москве отшумел молодежный фестиваль. Я и сам приобщился к этому мировому торжеству – со станционного забора. У нас восемь минут стоял поезд, на котором японская делегация возвращалась с фестиваля. На перроне столпился весь город, японцам и места не нашлось, куда вылезти. Я с забора видел, как они из дверей вагона махали руками и пели по-русски «Катюшу». Но разве это могло сравниться с тем, что рассказывала Лена? Классный час кончился, а девчонки обступили ее – не пробиться. Я залез на парту, как в тот раз на забор.

– Там одной русской девушке, – говорила она, – мексиканец сомбреро подарил. С головы снял и бросил ей

под ноги. И поклонился, руку к сердцу – представляете? А у него на макушке лысинка! Все смеются, кричат ей: «Бери!»

– Взяла? – замирали девчонки.

– Сперва стеснялась, а потом – конечно же! Даже поцеловалась.

– С лы-ысым? – брезгливо пробасила толстая Брынза. – Ффу-у!..

Лена критически оглядела Брынзу.

– Мужчину лысина не портит!

Она произнесла это так, что весь наш пятый класс изумленно притих, запомнил и заучил: не портит! Брынза надулась, будто двойку схватила. Никто из девчонок больше не высовывался с собственным мнением, все они только ахали: «А индийцы как одетые? А мексиканцы как одетые?» Лена отвечала толково, и слова у нее были какие-то толковые: «группа немцев», «группа итальянцев»... Захаров подлез покривляться: «Грюппа!» Девчонки загалдели: «Захарыч! Пошел, противный!»

– Захарыч он? – Лена всплеснула руками и засмеялась. – Захрыч – старый хрыч!

Он был неглуп и заюлил: «А эти... а негры как одетые?» Но негры его не спасли: был Захарыч, а стал Хрыч-Захрыч...

Теперь, спустя три года, в восьмом, она все так же носила белые банты, и так же падала на лоб челка, сбoku похожая на темный полумесяц. Но что-то уже изменилось. Впервые я почувствовал это в теплый осенний день, когда после уроков оба наши восьмых класса пришли в привокзальный парк поиграть в волейбол. Лена, в голубой майке, сверкая белыми зубами, радостно вопила за сетку: «Позорники!» Я был среди болельщиков. «Повизгивает!» – задумчиво сказал прокуренный Селиверстов. И не спеша поведал, как Лена летом вдвоем с десятиклассником из другой школы ходила по голубицу. Ребята растерянно ухмылялись, не зная, верить или нет. Я тоже пробовал ухмыляться, хоть и тоскливо мне стало там, у пыльной волейбольной площадки.

Но, в конце концов, Лена всегда существовала для меня как бы за чертой, за которую мне ходу не было. За той чертой бросали сомбреро под ноги девушкам, – кто знает, может, там ходили с ними и по голубицу.

Я только поглядывал на нее. Ну, а теперь вот только хотел спросить про девчачьи елочные костюмы. Захотел – и все тут. Значит, так. Сперва усмехнуться. «Какие, если не секрет, сюрпризы...» Нет, не так. «Чем, если не секрет, вы собираетесь...» Звонок прозвенел, я подскочил к Лене и задал свой отшлифованный вопрос. Она фыркнула:

– Тебе какое дело?

Глаза под темной челкой были светлые, льдистые. Я похолодел, как на качелях, стал задираться:

– Что – опять «Царевна Лебедь» да «Царица Ночь»? Это же старо! – и понес...

Она слушала с какой-то сонной улыбкой. Вдруг перебила:

– Знаешь, Витька, мы просто платья сошьем.

Я осекся. Промычал: «А-а!» – и отошел, сбитый с толку. Просто платья? Ну и на здоровье... Но почему-то запахло тревогой и обидой. Мелькнуло такое чувство,

будто все вокруг поняли что-то важное, а мне не хотят объяснить... Впрочем, неясная эта обида быстро рассеялась. Я тогда еще не думал про Лену по двадцать четыре часа в сутки. Я думал про парный костюм. «Тарапунька и Штепсель»? Не то... «Кот и Повар»? Чушь собачья...

Дома мать спросила:

– Что киснешь ходишь?

Она-то и вырчила.

– У нас, помню, в школе был кружок «Юный безбожник», дак парни на елке постановку показывали: «Поп, Балда и Чертенок».

Детство матери, тридцатые годы! Рубахи в подпояску, живой поп на извозчике, юные безбожники с барабаном, в строю босиком...

– Да, но у попа же эта... как ее?..

– Ряса? А у меня есть четыре метра сатина черного, на трусы вам с отцом. Резать не стану, а если подогнуть да сметать на живульку... Эй, ты куда? У коровы не чищено!

– Почищу!

Поп! Ха-ха! Я бежал к Генке, страхась, что он не захочет быть Балдой. Генка сидел дома, крутил приемник – ну, а я пошел крутить дипломатию. Ладно, Гена, так и быть, Попа я беру на себя, где уж мне быть Балдой – это же добрый молодец, тут твой рост нужен!.. Генка кивал головой в такт мяуканью электрических гитар, ему было чихать, Балда так Балда. У меня отлегло от сердца. Правда, нам еще нужен был третий – в костюме Чертенка, но тут мы и подавно не стали спорить:

– Барбосик!

Вот еще одна из странностей восьмого класса. К концу школы этот самый Барбосик вдруг вытянется и достигнет нормального роста. А тогда, в восьмом, путалось у всех под ногами что-то маленькое и сердитое, в больших серых валенках. Что еще у Барбосика было большим, кроме валенок, так это рот до ушей, всегда свирепо оскаленный: будто сейчас укусит.

Вымазать ему черной краской лицо, приставить рожки – и готов чертик из табакерки.

Жданка стояла в загоне, хрупала сеном на свежем воздухе. А в стайке еще клубился пар от ночного коровьего тепла, и наверху, в темноте, копошились куры, а одна кудахтала как сумасшедшая. Снеслась, видать.

Ночные Жданкины лепехи на полу не замерзли, сгребать их лопатой было легко и приятно – и легко и приятно при этом думалось. Инсценировку надо начать так. Выходит Балда, низко всем кланяется – и провозглашает: «Жил Поп, толоконный лоб...» (Я отставил лопату и изобразил поклон). А Поп?.. А Поп в это время стучит себя большим крестом по лбу: бум-бум! (На лоб под поповскую шапку надо подложить жестянку). Потом выпрыгивает Чертенок... (Я запрыгал по стайке, как лягушка, поскользнулся, сел задом на мокрый пол... О! Отлично! Надо Барбосика научить, чтобы так же шлепнулся на пол у елки, будто нечаянно). Так... Выпрыгивает, значит, Чертенок и продолжает за Балдой по тексту (и я суматошно заголосил партию Чертенка, подражая ку-

риному кудахтанью наверху): «Пошел Поп по базару! Поискать кой-какого това-ару!..»

Блеск! Блеск!..

Вечером я слепил из пластилина нос, бугристый, ноздрястый, оклеил его толстым слоем бумажек и лег спать, радуясь, что завтра выну пластилин – и просохшее папье-маше будет легким и крепким, как ореховая скорлупа. Подберу краску – и нос засияет сизым отливом, типичная поповская нюхалка.

Уснуть я никак не мог: режиссерские идеи били ключом. Эх! Уговорить бы трех девчат – нарядиться одну попадшей, другую поповной, а третью кобылой. «Маленький бес под кобылу подлез...» Представив, как Барбосик тужится поднять толстую Брынзу, я скорчился от смеха под одеялом. Но где там! Любая возмущенно расфыркается. Может, одна Милка лупоглазая и согласилась бы... Я вспомнил, как Милка внимательно поджала губы, когда я паялся на Лену. Неловко заворочался. Змеей вползла мысль: а посмел бы я роль кобылы предложить... Лене? Ужаснулся и задавил эту мысль.

Утром мы с Генкой отозвали Барбосика в сторону: выручай, нужен такой клопик, как ты. Это Генка сказал «клопик». Барбосик сразу оскалился. Выслушал нас, стряхнул мою руку со своего плеча:

– Отвали!

И пошел прочь, как ходил всегда: вытянув вверх шею и растопырив локти – во какой я высокий, какой широкий! А мимо шел Захрыч, вихлястый динозавр, вымирающий от апатии. Он сгреб Барбосика, сунул себе под мышку и так гулял до звонка. Барбосик мотал валенками и рычал свое «отвали!». Он никогда не смеялся и не плакал, какой-то был тупой не тупой... В общем, не артист. Я махнул рукой:

– Все равно с него толку-то!

Увы! На репетициях обнаружилось, что и из Генки толку не много. Поклоны и жесты выходили у него деревянно, а когда он бубнил слова Балды: «На ужин вари мне полбу», – то казалось, что рот его уже забит этой самой вареной полбой. На душе у меня заскребли кошки: провалимся!

За час до начала новогоднего вечера Генка пришел ко мне домой в костюме Балды. Он вымазал кирзовые сапоги зеленой краской, надел отцову вышитую рубаху, подпоясался красным шарфиком – вот и весь костюм. Стали наряжать меня. Генка помог мне примотать шалью к животу толстую подушку. Я надел рясу – и новенький сатин обтянул пузо, переливаясь, как черный шелк. На пузо я повесил серебряный узорчатый крест из фанеры. А когда нацепил сизый нос с бородой и усами и надвинул на лоб черную цилиндрическую шапку – Генка заржал, упал на сундук, задрогал зелеными сапогами. Мать всплеснула руками: «Первое место дадут!». Я покосился на Генку и только вздохнул.

До школы было две минуты ходу. Мы накинули пальто и побежали. В школьных дверях я неловко завожился: живот и ряса мешали. Генка дверь распахнул и придержал.

В морозном облаке, сияя крестом на черном пузе, я важно вплыл в маленький вестибюль.

Пират в черной повязке вылупил на меня незавязанный глаз. Красная Шапочка и Снежинка ойкнули, попятнулись, исчезли за углом в коридоре, снова появились – а за ними густо посыпали мушкетеры, богатыри, царевны-лебеди, космические ракеты, коты в сапогах, и просто зеваки в сапогах и валенках, и восьмиклассницы наши – «просто в платьях»... Пока Генка бегал относить наши пальто, вестибюль битком набился. Но чем больше росла толпа, тем поразительней становилось, что толпа-то уж больно тихая.

Смотрели – а не смеялись. Что? Уже провал?

Я растерялся...

Как-то, еще в шестом классе, заполошный Тормащук выкинул небывалую штуку. Среди урока, на диктанте, он вскочил, подбежал к одной девочке и... звучно поцеловал ее в щеку. А потом сел на место с упрямой миной: теперь, мол, хоть убивайте меня! Учительница застыла у доски. Та девочка поморгала – тихо заплакала. А весь класс, как один человек, будто рыбьей костью подавился.

Что-то похожее творилось сейчас.

До меня смутно дошло: а чего я ждал? Все правильно. Мы ведь этих попов, этих обманщиков народа, смешных и страшных, видели только на картинках. И вдруг я стою тут, поп хоть и не настоящий, но ведь живой! Наверно, было в этом что-то жутковатое. У меня у самого вдруг мурашки поползли. Я глотнул воздуха – и неожиданно для себя, подняв с пуза крест, судорожно перекрестил толпу.

Десятки ртов раскрылись в молчании... И – прорвало. Взвыли, захохотали:

– Это бог? – визжала мелкота из шестых. – Ха-ха! Бог!

– Поп, дураки!

– Монах!

– Архирей!

– Ой, умора! Ой, не могу!

Ликуя, дернул я Генку за рукав: «Начинай!» Он согнулся буквой «Г», промямлил в пол:

– Жил Поп, толоконный лоб...

Какое там! Балду оттерли, запихали в угол, никто и не понял, что он Балда. Я сам про него забыл. Лица в масках и без масок плыли в глазах, я оглох от хохота. Успех навалился на меня – неожиданный, бестолковый и упоительный, мне стало абсолютно все равно, кого я, по их мнению, изображаю, бога или «архирея». Ошалев, я крестил толпу направо и налево. Мельком заметил лицо Захрыча с перекошенным от зависти ртом. Различил вытянутые лица двух-трех учителей – и учителей перекрестил, вызвав такой отвагой бешеный визг восторга. Но вот увидел еще одно лицо. Лена, красивая Лена, в каком-то красивом платье, прижав ладони к вискам, смотрела на меня во все свои льдистые глаза – недоверчиво, восхищенно. И больше я уже ничего не видел, только носился по длинному коридору в спортзал, где стояла елка, и обратно. Ревущие волны смеха расступались, давая дорогу, и, вновь смыкаясь, бурлили сзади. Ряса раздувалась на бегу, но я уже не соображал, что я пузатый поп, мне казалось, что это мантия цезаря, плащ героя полощется на мне. Это была такая высота, такая вершина славы, что если плянуть вниз...

Чья-то рука крепко легла на мое плечо. Я обернулся и узнал эту руку, большую, чисто отмытую, всю в веснушках и, надо сказать, сильную, – он был садоводом, наш директор школы, и привык сжимать черенок лопаты. Ну что ж. Наглый, как всякий баловень счастья, я перекрестил и директора. Бумажные гирлянды над нами вздрогнули от взрыва дьявольской смеси восторга и ужаса.

Директор добродушно фыркнул, однако руку на моем плече не разжал, а другую поднял, и смех поутих.

– Так, Витя, – сказал он улыбаясь. – Костюм смешной, поработал ты над ним, молодец. Но... иди-ка, сними его.

Стало тихо. Я услышал звяканье стекляшек на елке. Потом вокруг заныли:

– Ой, Николай Ильич! Ну пускай он еще так походит!

Директор минуты две оглядывал ноющий зал. Нахмурился:

– Всем все ясно?

– А... чего тут такого? – залепетал я, боясь поверить, что уже лечу, уже упал со своей заоблачной высоты. – Разве я это... разве проповедую? Наоборот, разоблачаю.

– Что ты разоблачаешь?

– Религию, – промямлил я в тишине.

Директор вел меня по коридору, держа большой рукой за плечо, но отчасти и за шиворот. За нами без всякой охоты плелся Генка-Балда. Сними я сейчас сизый нос и бороду – и все замолкли бы, наверно, увидев мое горящее от обиды лицо. Но все видели, как ведут за шкурку толстопузого попика, и не думали огорчаться. А Лена царапнула меня рассеянной улыбкой и отвернулась.

В директорском кабинете я еле сдерживал слезы и плохо помню, что бормотал. Слова директора доходили до меня как сквозь вату: «Инсценировка?.. А зачем крестить всех подряд?.. И не посоветовались, в известность нас не поставили!..» А костюм директор вскользь еще раз похвалил: «Сделано искусно!» И вообще поглядывал на нас с Генкой с удивленной какой-то улыбкой. На лице его было даже извинение, когда он сильными руками переломил мой узорчатый крест.

«Да что же это?.. Что за глупость?..»

Я сидел одиноко в физкабинете, и голова моя, казалось, совсем помутилась от гнева. Но поскольку к восьмому классу сочинения, писанные нами на уроках литературы, успели сильно усовершенствовать мое мозговое устройство, то теперь в нем исправно вспыхивали вопросительные и восклицательные предложения: «Образ попа, созданный мною, есть карикатура на церковь, и карикатура беспощадная! И что же? Высмеивать религию – значит пропагандировать ее? Это ли не абсурд? Наш директор – типичный человек в футляре! Как бы чего не вышло! Как же – ведь может пойти слух, что в его школе ученики крестят друг друга. Перестраховщик! Беликов! Премудрый пескарь! Глупый пингвин робко прячет...»

В физкабинете грудами лежали на столах пальто, шапки, валенки. Я менял пластинки на проигрывателе, от которого динамик был выведен в спортзал, к елке. Они веселились там, а мой костюм лежал, увязанный в узел.

Дома я натянул рясу поверх старого, заляпанного красками свитера и штанов с заплатой на задку. И валенки на мне были те, в которых я чистил стайку, на одном присох кусочек навоза, я скovyрнул его – и горько усмехнулся.

Мой праздник кончился, и я сидел одиноко, любимец народа, не признанный официальной критикой.

Забегал мой верный Балда, сообщил итоги конкурса. Первого приза – за содержательность образа и мастерство исполнения – удостоился костюм семиклассника Вовки Васина «Ракета-носитель». Старший брат из паровозного депо сварил ему эту ракету из листового железа, Вовка напялил ее и тягал на себе целый вечер, а вихлястый Захрыч стучал в железо и кричал: «Эй, ты, там, носитель!». Я горько усмехнулся.

Залетел Тормашук: «Дай нос от попа!» Нацепил нос, перекрестил меня кукишем, выскочил в коридор – и оттуда тотчас донесся его вопль: «Отда-ай!..» – «Гы-гы!..» – был ему в ответ гогот Захрыча.

В кабинет повалили шести- и семиклассники, расхватывая пальто и шапки: их, мелкоту, уже погнали по домам. Они шептались: «Вон – который Поп!» – и это было так сладко, что я опять горько усмехнулся.

Потом пришла Милка. Играли в почту, и она принесла мне открытку – бедняга и в праздник была на побегушках. Я прочитал: «Витя! Пусть в Новом году сбудутся твои мечты! Л.С.» Меня как током ударило, но я очень даже небрежно процедил:

– От Ленки Серовой?

Милка помедлила с ответом, потом слабо кивнула, и ее бледно-голубые глаза, всегда встревожено вытаращенные, выкатились так, что чуть не упали с лица. Я не заметил ее ухода. На лицевой стороне открытки были нарисованы в профиль парень с девушкой, весеннее небо, весенняя зелень. И напечатаны стихи:

Над нами небо голубое,  
Легко сегодня дышит грудь!  
Окончив школу, мы с тобою  
На трудовой выходим путь.

И в том, что открытка была подчеркнута не новогодняя, и в этих радостных профилях, и в содержании стихов был такой волнующий смысл, что я испугался. Я был захвачен врасплох. Вот тебе раз! Что же она во мне нашла?.. Значит, что-то нашла!.. Заплата на задку, как магнит, удержала меня на стуле, не дала кинуться туда, в спортзал, к ней... Да и что б я ей там сказал? И надо ли что-то говорить? Надо как-то жить дальше, освоиться со счастьем... Как во сне я встал, покопался в пластинках, поставил «Автобус червонный» этой новой молодой певицы, советской польки Эдиты Пьехи, – я знал, Лена любила ее. Снова взял открытку: «...сбудутся твои мечты. Л.С.»

И медленно опустился на стул.

Да ведь... «Л.С.»... Людмила Сердюкова!.. В просторечии Милка. Вот тебе и все твои «мечты», Витя!

Ладно, чего уж... Посидел я, посидел, а потом поднялся и пошел в спортзал. Плевать мне стало на свои залатанные штаны. Да и не нанялся я им пластинки крутить.

У елки уже не было толкучки: остались одни восьмиклассники. Я встал у стенки.

Лена Серова смеялась: перед ней топтался в зеленых сапогах Генка-Балда с ушами как огонь, Лена учила его танцевать, но у Генки выходило плохо. Я с облегчением увидел, что он ей надоел и она закружилась в вальсе с одной из девчонок. Голубое платье ее раздувалось колоколом, темные волосы без привычных бантов гуляли по плечам, глаза блестели. Чем больше она веселилась, тем становилась красивее. На девчат ее веселье действовало как зараза, – едва умолкала музыка и кто-нибудь бежал менять пластинку, как все они собирались вокруг Лены, что-то наперебой говорили ей, и у каждой глаза сияли радостью, и каждая, наверно, думала, что она сейчас такая же красивая, как Лена.

И ребята глядели на нее: одни разинув рот, как Тормашук, другие скользом, но цепко, как вихлястый Захрыч. Даже сопливый шестиклашка в костюме русского богатыря все поворачивался в ее сторону.

– Пошел спать, мелочь пузатая! – рявкнул Захрыч.

Богатырь повернул к нему лицо, закрытое листом черной бумаги:

– Отвали!

Все, кто был рядом, ахнули. За весь вечер никто не узнал Барбосика, думали – шестиклашка жметесь по углам. Его радостно обступили. Даже я, забыв про заплату на задку, вклинился в толчею.

– Уй, какой могучий!

– Поубивает, братцы!

Красный щит Барбосика, круглый и выпуклый, поражал размерами. Шлем был вытянут в высоту так, что смахивал на бутылку. На мече, толстом, как дубина, сквозь серебряную краску проступали сучки.

– Барбосик, ты кто? Илья Муромец?

– Он Соловей-Разбойник! – добродушно ухмыльнулся Генка.

– Соловей-Барбосик! – заорал я, толкаясь, упиваясь собственным свежее испеченным каламбуром. – Слышите – это Соловей-Барбосик!

На шум потянулись девчонки.

– Соловей-Барбосик! – объявил я, глядя на Лену.

Она, прижав пальцы к вискам, улыбнулась:

– Барабошко, что ли?

Да, вообще-то фамилия его была Барабошко. Сквозь дырки в черной бумаге он смотрел снизу вверх на Лену, притихнув за своим щитом, как птенец в гнезде. Захрыч, подрулив сбоку, длинным пальцем, как крючком, зацепил его маску – и разорвал. Я и сейчас помню красное, красней щита, лицо Барбосика, очень посветлевшие глаза, дрожащие губы.

– Дурак, – сказала Лена Захрычу.

Барбосик страдальчески оскалился – и с силой обрушил суковатый меч на Захрыча. Тот увернулся ужом. Зато Барбосик, оступившись, запутался в зеленой оконной занавеске, служившей ему богатырским плащом, упал и, барахтаясь по полу, закатился в собственный выпуклый щит, как в тазик.

Тут и Лена прыснула. Под общий хохот Барбосик вскочил. Захрыч ринулся от него за елку – и меч дважды чеснул по веткам, одна из них треснула. Елка дрогнула, иг-

рушки росой брызнули вниз. Смех оборвался. Толпа хлынула их мирить. Игрушки нежно хрустели под ногами, и новые падали на пол. Барбосик вырвался из дружеских рук, пинком отбросил в угол раздавленный щит и убежал.

— Баиньки захотели? — иронично сказал, появившись в дверях, Валерий Павлович, наш физик. Его, молодого-неженатого, директор оставил присмотреть за нами до конца вечера. Он оглядел пол, густо сверкающий осколками, но ничего не спросил, только приказал:

— Подмести живо!

Грянула музыка. «Дамский вальс!» — крикнула Лена и подошла к Валерию Павловичу. Как она улыбнулась

ему! Он поднял брови, посмотрел еще раз на сверкающий пол, покачал головой — и пошел с нею вальсировать. Девчонки одного за другим порасхватали всех ребят, даже вихлястый Захрыч пошел в ход.

Только меня да Тормашука не пригласил никто.

Меня обожгло: а где же Милка? Лишь сейчас я вспомнил о ней. Подошла бы, пригласила на дамский вальс — а я бы помотал головой, развел бы руками и сказал бы громко: «Ты что, не видишь, как я одет?»... Где же она?

Милка появилась. В руках у нее был веник, и она, не глянув на меня, стала подметать пол. Валерий Павлович, вальсируя, осторожно провел Лену на подметенное, а за ним и остальные пары протанцевали туда.

1985 г.